

Д.Е. Алимов

**ПОТЕСТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ В IX–X ВВ.:
В ПОИСКАХ «ПРОСТОГО ВОЖДЕСТВА»***

Последние 10–15 лет стали временем значительных перемен в интерпретации процессов возникновения и развития догосударственных политических (потестарных) структур в славянском мире, вызванных главным образом усвоением в соответствующей области медиевистики тех подходов к осмыслению социальной эволюции, которые преобладают в современной антропологической науке. Одной из наиболее значимых новаций стало введение в категориальный аппарат науки о «славянских древностях» понятия вожества (*chiefdom*), сформулированного еще полвека назад в англо-саксонской неэволюционистской антропологии [Oberg 1955], а ко времени своего прихода в медиевистику успешного прочно утвердиться среди антропологов, включая советских ученых, занимавшихся «потестарно-политической этнографией» (историю концепции см.: [Крадин 1995]). Хотя медиевистика обладала длительной традицией использования «своей» терминологии в плане обозначения потестарных структур, казавшейся до недавнего времени вполне устоявшейся, понятие вожества, однажды появившись в исторических работах, относительно быстро и практически безболезненно завоевало себе место в исследованиях по социальной истории ранних славян. Причины тому вполне ясны: понятие вожества, концептуализированное антропологами на основе тщательного анализа функционирования властных структур в так называемых «архаических» обществах [Service 1962; Sahlins 1968], обладало необходимой терминологической выверенностью и большим когнитивным потенциалом, крившимся в возможности сопоставления синхро-

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук (МК–5950.2012.6 «Потестарные образования в славянском мире в VII–X вв.: эволюция структур власти и этносоциальные процессы»).

стадиальных обществ в разных уголках мира [Шинаков 2009: 24–30; Пузанов 2012: 33–37]. Этого явно не хватало таким терминам, как «племя», «племенной союз», «племенное княжество», вследствие чего их широкое использование в славистике неоднократно подвергалось критике со стороны исследователей, нуждавшихся не просто в наличии технических терминов для обозначения ранних форм социальной организации, но и в ясном понимании того, что эти термины означают [Třeštík 1988: 129–143; Горский 2004: 9–19; Urbańczyk 2008: 69–106].

Правда, на настоящем этапе дело в большинстве случаев ограничивается простой заменой терминов [Пузанов 2012: 58], которая, будучи сама по себе шагом вполне легитимным, совсем не проясняет проблем, которые занимали исследователей в те времена, когда вместо термина «вождество» использовались такие термины, как «жупа» или «племенное княжество». Следует признать, что анализ конкретных славянских политических организмов в рамках теории вождеств, выявление их характера и эволюции, в том числе в сопоставлении с гигантским материалом, собранным по данной теме в других уголках мира, пока остаются в области *desiderata*. И причина здесь не только в подчас недостаточном для осуществления столь сложной задачи знакомстве историков-славистов с такой динамичной областью знания, как политическая антропология (см. об этом: [Urbańczyk 2008: 16–24]), но и в состоянии источников, относящихся к древнейшей истории славянства. Речь при этом идет не только о скудости, отрывочности или сомнительной достоверности представленной в них информации. В письменных источниках этого периода ярко проявляется дискурсивная природа социального знания, обусловленная в интересующем нас случае оппозицией «письменная цивилизация — бесписьменное общество» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как реакция на эту оппозицию в новейшей историографии, испытавшей серьезное воздействие постмодернизма, участились попытки объявить те или иные славянские «племена», упоминаемые в письменных источниках, искусственными нарративными конструктами, возникшими под пером средневековых авторов, пытавшихся структурировать по заранее заданным образцам сложную

социальную реальность мира «варваров» [Urbańczyk 2008: 69–106; Tolochko 2008; Ančič 2011]. Логика данной позиции, берущей за основу выводы антропологов, давно признавших «племена» в этническом смысле не более чем аналитическими моделями, с помощью которых этнографы пытались упорядочить собранную ими информацию, и подчеркивающей субъективный и ситуативный характер того, что именуется этнической группой в современной этнологии, не вызывает возражений. Вполне понятна и апелляция авторов постмодернистского направления к социальному знанию образованных книжников, включая сюда и не имевший аналогов в варварской среде развитый этнический дискурс. Вследствие этого остро стоит вопрос о соотношении в дошедших до нас описаниях отражения реалий варварского бесписьменного общества, которые могут и должны быть интерпретированы в современном антропологическом контексте, и разного рода нарративных стратегий и конструктов — иными словами, всего того, что помогало упорядочить варварскую действительность в глазах образованных книжников.

Казалось бы, в подобных случаях на помощь историку должна прийти археология. В большинстве случаев так оно и происходит, не говоря уже о том, что иногда археологические данные являются единственным источником информации о некоторых славянских социумах. Между тем в тех случаях, когда существует возможность осуществить интердисциплинарное исследование, используя для реконструкции социальной организации как письменные, так и вещественные источники, исследователь нередко сталкивается с серьезным несоответствием между сведениями, извлекаемыми из письменных источников, и картиной, реконструируемой на основе археологических материалов. Актуальным для нашей темы примером данного несоответствия являются затруднения, испытываемые историками при идентификации таких форм надлокальной интеграции славянского общества, которые в рамках используемых в антропологии моделей политической организации могли бы соответствовать уровню «простого вожества». Эти затруднения особенно обескураживают на фоне кажущейся простоты и ясности определений, предложенных в антропологии для идентификации данной формы политической организации.

Так, по определению Р. Карнейро, (простое) вождество представляет собой самостоятельную политическую единицу, объединяющую ряд деревень (общин) под постоянной властью верховного вождя [Carneiro 1981]. Появление более сложной структуры, которую Р. Карнейро предложил именовать компаундным вождеством¹, означало в рамках данного подхода, прежде всего появление следующего уровня иерархии вследствие подчинения одного вождя другому и возникновения вследствие этого более крупного и структурно более сложного политического организма [Карнейро 2000]. Данная типология была выработана прежде всего на основе изучения исторических обществ коренного населения юго-востока США, политическая организация которых относительно неплохо известна благодаря наличию современных их существованию письменных свидетельств, а также результатам многолетних археологических исследований. Продуктивность и когнитивная ценность дифференциации простых и сложных форм вождеств в этом регионе хорошо видны при обобщении данных, накопленных за десятилетия исследований. Так, по наблюдениям Дж. Уорта, на всем рассматриваемом пространстве внутренняя структура простого вождества отличалась относительно большой стабильностью: оно объединяло под единой властью, как правило, от 5 до 10 локальных общин, при этом община, возглавлявшаяся одним старейшиной, могла представлять собой как единое поселение (деревню), так и комплекс взаимосвязанных между собой малых поселков или хуторов. Численность населения как простых вождеств, так и отдельных общин отличалась большей вариативностью в связи с важной ролью природной среды, однако и здесь удалось выявить определенные закономерности. Так, самые маленькие простые вождества насчитывали менее 1000 человек, тогда как в наиболее крупных из них могли проживать свыше 5000 человек. В локальных общинах численность населения варьировалась от 30–40 до 750 или 1000 человек, однако наиболее типичной была численность, составлявшая около 300 человек. Что касается размеров простых вождеств, то они, разумеется, сильно варьировались в зависимости от природного ландшафта. Среди них, по археологическим данным, находились как совсем крошечные полинии диаметром около 5 км, так и бо-

лее крупные, достигавшие до 25 км в диаметре (без учета площади незаселенных буферных земель между соседними вождествами) [Worth 2003: 6–8]. Понятно, что приведенные цифры сами по себе мало что говорят нам о характере власти вождей, социально-потестарных и социально-экономических отношениях, то есть, по сути, обо всем том, что оправдывает концептуализацию вождества в качестве особой стадии социальной эволюции. Однако в настоящей статье мы сознательно оставляем в стороне все эти сюжеты, чтобы сфокусировать внимание на том, что, на наш взгляд, должно являться исходным пунктом для изучения вождеств в славянском мире, — проблеме идентификации их простейших форм на основе доступного нам источникового материала. Не претендуя на окончательное разрешение этой проблемы, мы постараемся, во-первых, обрисовать место, занимаемое ею в историографическом контексте изучения ранних форм славянской политической (потестарной) организации, а во-вторых, сформулировать вопросы, постановка которых необходима для дальнейшего анализа данной проблемы в современном антропологическом контексте.

Еще в середине XIX в. в трудах главным образом Ф. Палацкого и П.Й. Шафарика стала оформляться концепция, согласно которой базовым элементом социально-политической организации раннеславянского общества были так называемые «жупы». Жупы и жупании, фигурирующие в источниках X–XIV вв. в качестве территориальных сегментов средневековых славянских государств, расположенных на Балканском полуострове — Хорватии, Боснии и Сербии, рассматривались в рамках данной концепции как территориальные эквиваленты древних «родоплеменных» единиц, возглавлявшихся жупанами (историю концепции см.: [Грачев 1965]). В конце XIX — первой половине XX в. данная концепция получила широкое распространение в сербской и хорватской историографии (Ф. Рачки, С. Новакович, Ф. Шишич, М. Ланович и др.), позволив исследователям использовать данные о структуре жуп и характере проживавших в них родственных коллективов для реконструкции реалий раннеславянского общества. При этом считалось, что с появлением у южных славян государственности жупы, сохранив родовой принцип своего внутреннего устройства, превратились

в административные единицы государств, а жупаны стали основной аппарата управления при верховном правителе, также вышедшем из среды жупанов. В западнославянских землях термин «жупа» для обозначения территории не использовался: жупой именовалась здесь сама должность жупана (как правило, представителя административного аппарата) и связанные с нею доходы [Prochazka 1968; Vogucki 1972: 83–86]. Однако, несмотря на это обстоятельство, представление о месте жуп и жупанов в социальной организации древних славян, которое распространилось в чешской и польской науке в конце XIX — первой половине XX в. (О. Бальцер, К. Кадлец, Л. Нидерле, К. Тыменецкий и др.), почти не отличалось от взглядов сербских и хорватских ученых. Весьма влиятельной стала, например, концепция чешского историка К. Кадлеца, по мнению которого жупой именовался возглавляемый жупаном союз из нескольких родов, совокупно занимавших определенную территорию, причем жупа была базовым уровнем интеграции славянского общества в иерархической структуре, состоявшей будто бы из жупы, «малого племени» и «большого племени» [Kadlec 1912].

Последующее развитие историографии поставило стройную концепцию «жупной организации» под сомнение. Так, с ней оказалось довольно сложно согласовать наиболее ранний пласт информации о территориальной организации южных славян — содержащийся в 30-й главе трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.) перечень одиннадцати хорватских жупаний [КБ 1991: 133]. Внутренняя структура жупаний, в которой ясно читаются признаки дожившей до Средневековья античной инфраструктуры, размеры и, что особенно важно, соотношение друг с другом, указывают скорее на то, что жупании изначально создавались в качестве административных единиц [Smiljanić 1995]. Правда, в середине XX в. хорватский исследователь О. Мандич выдвинул тезис, согласно которому в раннесредневековой Хорватии параллельно существовало деление по жупам и по жупаниям, причем территории жуп, организованных по принципам «старого родового устройства» и возглавлявшихся «жупными» жупанами, покрывались системой административных единиц Хорватского государства — жупаний, возглавлявшихся жупанами «коро-

левскими» [Mandić 1952: 277–284]. Однако данная гипотеза была вскоре оспорена Н. Клаич, указавшей как на возможную неполноту перечня жупаний в труде императора Константина, так и на недостаточную обоснованность локализации жуп на территории Клисской жупании [Klaić 1959: 126–127; Клајић 1959: 341–342]. Наконец, в 1970-е гг. В.П. Грачев, проанализировав сведения имеющихся источников о сербских и боснийских жупах, показал, что большинство районов, которые в историографии считались жупами, обозначаются так только в Летописи попа Дуклянина, а также в документах XIV–XV вв., когда эти районы входили в состав Боснийского государства. Это наблюдение позволило исследователю высказать предположение об административном характере не только «жупании», но и «жупы» [Грачев 1967; 1972: 90–100].

Несмотря на то что доводы в пользу позднейшего происхождения жуп выглядят достаточно вескими, представление о жупе как об архаичной славянской единице полностью не утратило влияния и в последующей историографии. Так, Х. Ловмянский, одним из первых откликнувшись на критику древнего происхождения жуп, вовсе не счел существенным тезис об их административном характере. Ссылаясь на предполагаемую архаичность самого названия «жупа», а также на небольшие размеры называемых этим словом административных единиц, исследователь был готов допустить только их небольшую модификацию в период существования средневековых государств. По мнению Х. Ловмянского, странным было бы считать, что при создании административной сети в государственную эпоху не были бы учтены территориальные единицы предшествующего «племенного» периода [Łowmiański 1970: 47–48]. Понятно, что подобный подход практически выводит решение проблемы из дискуссионного поля, превращая его в дело веры того или иного автора. В настоящее время словенский археолог А. Плетерский пытается вдохнуть новую жизнь в концепцию жупной организации, стараясь наполнить ее новейшими исследовательскими результатами из области реконструкции архаичных пластов славянской духовной культуры. Предлагая посмотреть на раннеславянское общество «изнутри», то есть с точки зрения реконструируемого им миро-

видения ранних славян, исследователь представляет жупу как базовую единицу идентичности раннеславянского мира, своего рода микрокосм, центральную структуру которого будто бы определяли три культовых места, расположение которых в природном ландшафте соответствовало функциям основных славянских божеств [Pleterski 1998; Плетерский 2008]. Однако какими бы убедительными ни казались нам реконструкции славянской сакральной топографии, осуществленные исследователем на микрорегиональном уровне [Pleterski 1995; 1996], их релевантность для анализа реальных форм потестарной организации далеко не очевидна. Иными словами, доказательством существования жупы как потестарной единицы они служить не могут, а любое их «встраивание» в старую концепцию жупной организации не выходит за пределы априорной конструкции.

В связи с этим необходимо отметить, что термин «жупан» у славян мог применяться к представителям власти самого разного уровня. Жупанами могли именоваться как главы больших вожеств, как упоминаемый в трактате Константина Багрянородного жупан Белое, стоявший во главе «княжества» Травунии, так и главы совсем небольших единиц надлокальной интеграции, основанных на территориальных или родственных связях, каковым, например, был жупан Фиссо, упомянутый еще в 777 г. в грамоте Тассилона III Кремсмонстерскому монастырю [Свод 1995: 430]. Хотя происхождение института жупанов, а также этимология самого слова «жупан» остаются предметом непрекращающихся дискуссий, следует признать, что гипотеза, связывающая появление титула «жупан» в славянском мире с аvaraми, выходцами из глубинных районов Азии, которые создали в 560-е гг. могущественное, просуществовавшее более двух веков политическое образование в Карпатской котловине, принадлежит к числу наиболее аргументированных. В ее пользу говорит не только морфологическое сходство слова «жупан» с другими социальными терминами, характерными для алтайских народов (таркан, кавхан, копан), но и сам факт наличия жупанов только у южных и западных славян, притом что восточным славянам, не испытывавшим в большинстве своем заметного аварского воздействия, данный титул, очевидно, не был известен. Попытки привести в качестве свиде-

тельства общеславянского распространения института жупанов наличие в восточнославянских землях топонимов с корнем «жупан» нельзя считать серьезными аргументами в полемике, так как неизвестны ни время появления этих (весьма немногочисленных) топонимов, ни исторический контекст их возникновения. Так, впервые зафиксированное в 1498 г. название деревни Жупаново в Новгородской земле, рассматривавшееся противниками аварской гипотезы происхождения жупанов как важное свидетельство бытования института жупанов у восточных славян [Łowmiański 1970: 49–50], скорее всего, было образовано от соответствующего антропонима, засвидетельствованного у славян, и в том числе в Новгородской земле в форме *Жюпанко* [Васильев 2005: 194]. Хотя антропоним был производным от социального термина «жупан», едва ли на этом основании можно сделать вывод о существовании в восточнославянской среде института жупанов.

Алтайское происхождение титула «жупан» у славян подкрепляется присутствием данного титула (иногда в сочетании с другими тюркскими социальными терминами) среди должностных лиц Дунайской Болгарии — державы, основанной тюркоязычными булгарами, а также сделанной греческими буквами надписью на чаше, происходящей из приписываемого аварам (иногда булгарам) сокровища, обнаруженного в Сынниколау Маре (Надь-Сентмиклош) в румынской части Баната, где упоминаются жупаны Бойла и Бугаул [Malingoudis 1972; Madgearu 2004: 16–19]. Недавно была сформулирована в целом убедительная, хотя и остающаяся по понятным причинам гипотетической концепция, согласно которой распространение социального термина «жупан» в Евразии было результатом своего рода культурной диффузии из Китая. Согласно предложенной схеме, термин «жупан», появившийся в славянской среде благодаря аварам, был унаследован последними от иранцев Центральной Азии, где данный термин в форме *šupan* означал наместника округа. Среди иранцев же данный термин появился вследствие усвоения ими китайской системы административных округов (*zhou*), которая впервые была введена в империи Хань, а в эпоху Южных и Северных династий (316–589), пережив серьезную трансформацию, когда единицы-*zhou* за-

метно уменьшились в размерах, стала достоянием варварских правителей, утвердившихся на севере Китая [Alemany 2009]. Как известно, в так называемых «кочевых империях» и подобных им политических образованиях родовые подразделения кочевников были тесно связаны с военной организацией [Крадин 2002: 87]. В аварском происхождении термина «жупан», вероятнее всего, следует усматривать распространение данного принципа на славянские общины, чья социальная верхушка должна была стать нижним уровнем военно-политической иерархии каганата. Данное предположение отвечает концепции «аварского культурного континуума», подчеркивающей роль аварской социально-политической инфраструктуры в процессе языковой славянизации Среднего Подунавья и Балкан, а также в распространении на Балканах характерного для Дунайского бассейна культурного габитуса [Dzino 2010: 161–174].

Таким образом, имеющиеся сведения о жупах у южных славян сами по себе не дают оснований говорить об их древнем происхождении, в то время как полисеманτικότητα и вероятное аварское происхождение термина «жупан» не позволяют рассматривать жупанов как властный институт, связанный с определенным уровнем социальной интеграции. Это побуждает обратиться к свидетельствам источников о наличии единиц, аналогичных южнославянским жупам, в других регионах славянского мира. Важнейшее место среди этих источников занимает знаменитое «Описание городов и областей к северу от Дуная», известное в историографии под условным названием «Баварского географа». Сведения этого источника, созданного в IX в. в Восточно-Франкском королевстве с не вполне ясной, но, очевидно, справочной целью, обычно приводились в историографии в подтверждение существования у западных славян неких древних единиц надлокальной интеграции, якобы аналогичных южнославянским жупам. Вот, например, как описывается в этом памятнике территориальная организация крупного потестарного образования полабских славян — вильцев (*Vuilzi*): «Вильцы — [область], в которой 95 городов и 4 [меньших] области» [Назаренко 1993: 14]. Аналогичной выглядит и структура «племени» лужицких сербов (*Surbi*): «Поблизости от них находится область, зовущаяся сурбы, в каковой

области много [меньших областей], в которых 50 городов» [Там же]. На основании данных известий можно заключить, что упомянутые потестарные образования, для наименования которых используется термин «область» (*regio*), состояли из крупных сегментов, также обозначаемых термином «область», и гораздо более мелких единиц, именуемых градами (*civitates*). В остальных случаях в источнике сообщается лишь о числе градов, которыми обладает та или иная «область», причем в случае с северными ободритами (*Nortabtrezi*) содержится намек на связь градов с властными структурами: «Те, которые расположены ближе к пределам Данаев, зовутся нортабтрецы. Это область, в которой 53 города, поделенных между их князьями» [Там же]. Учитывая, что в «Баварском географе» список областей и градов, расположенных к северу от Дуная, открывается именно ободритами, логично считать, что и во всех остальных областях, перечисляемых в источнике далее, грады также могли быть распределены между князьями. Подобная организация власти находила бы в этом случае полное соответствие в потестарной организации вильцев в том виде, в каком она описана в другом франкском источнике — «Так называемых анналах Эйнхарда», где под 789 г. при описании похода на вильцев Карла Великого упоминается «град Драговита» (*civitas Dragawiti*), старшего из местных «царьков» (*reguli*): «Но народ тот, хотя и воинственный и рассчитывающий на свою многочисленность, не смог долго выдерживать натиск королевского войска, и потому, когда сначала подошли к городу Драговита — ведь он далеко превосходил всех царьков вильцев и знатностью рода, и авторитетом старости, — он тотчас со всеми своими вышел из города к королю...» [Ронин 1995: 471]. Наличие во главе того или иного потестарного организма нескольких или множества князей, каждый из которых сидел в своем «граде», было, судя по всему, распространенным явлением в славянском мире в раннее Средневековье. По крайней мере, известия франкских источников дают веские основания полагать, что в IX в. подобная организация существовала не только у вильцев и ободритов, но также у чехов и лужицких сербов [Třeštík 1994].

Именно на информации источников о потестарных образованиях западных славян, и в первую очередь известиях

«Баварского географа», основывалась принятая многими исследователями схема структуры так называемых «племенных союзов». Так, согласно Х. Ловмянскому, суммировавшему соответствующие суждения К. Ваховского и З. Войцеховского, *civitas* «Баварского географа» следует считать соседской общиной, каковой, по убеждению исследователя, первоначально и была древнеславянская жупа. На основании данных «Баварского географа» Ловмянский даже подсчитал средние размеры такой единицы, будто бы составлявшей в землях полабских славян около 320 квадратных километров. Обозначение жупы термином «град» следует, по мнению Ловмянского, связывать с милитаризацией славянских соседских общин, предшествовавшей последующему огосударствлению «племенных союзов» и превращению градских округов в административно-территориальные единицы, именовавшиеся в Польше термином «ополе» [Łowmiański 1970: 46–67]. Однако, как стало ясно впоследствии, подобная схема эволюционного развития от соседских общин к территориальным сегментам государств вступает в противоречие с результатами археологических изысканий. Во-первых, анализ пространственного распределения славянских поселений позволил археологам заключить, что применительно к древнейшему периоду VI–VII вв. в качестве самодостаточной потестарной единицы выступало так называемое «гнездо» поселений — группа из нескольких деревень, жители которых, очевидно, находились в родственных связях друг с другом [Тимошук 1990: 135–138]², в то время как существование в данный период неких более крупных единиц надлокальной интеграции просто не может быть установлено. Во-вторых, когда в IX в. у западных славян действительно фиксируются поселенческие кластеры с городищами, они, как считается, могли контролировать округу общей площадью в 75 кв. км, что значительно меньше, чем средняя площадь полабской жупы, рассчитанная Ловмянским на основе данных «Баварского географа». В связи с этим наличие в догосударственный период такого уровня надлокальной интеграции, который бы соответствовал позднейшей территориальной единице под названием «ополе», вызывает у современных исследователей обоснованные сомнения [Kobyliński 1997: 109].

Наконец, в последнее время в археологической литературе подверглась существенной ревизии как хронология появления градов в тех или иных западнославянских землях, так и представление об их месте в процессах политогенеза. В первую очередь это касается классической модели градского округа, будто бы представлявшей собой град и тяготеющий к нему сгусток поселений. Наличие подобных поселенческих паттернов засвидетельствовано лишь в отдельных регионах (Поморье, Силезия), характеризовавшихся густой населенностью и интенсивным экономическим развитием, тогда как в других районах пространственное распределение городищ позволяет приписывать им символическое или церемониальное значение, считать местами межплеменного обмена или убежищами на случай военных действий для жившего поблизости населения [Brather 2001; Buko 2008: 84–99; Urbańczyk 2008: 107–141]. Еще важнее в данном случае то, что вариативность в пространственном размещении городищ не позволяет говорить ни о единой для всего региона эволюционной модели развития от общин к градским округам, ни о наличии некой верховной племенной власти, которая могла бы сознательно практиковать формирование сети крепостей на уровне «племени» или «племенного союза» [Kobyliński 1997: 110–111]. Последнее наблюдение хорошо соотносится и с отсутствием в материальной культуре предметов, которые в рамках теории символического стиля могли бы быть интерпретированы как маркеры принадлежности населения к политически конкурирующим племенным группам. На это обстоятельство специально обратил внимание П. Урбаньчик, считая, что отсутствие этнодифференцирующих маркеров свидетельствует против наличия стабильных племенных единиц в том виде, в каком они традиционно представлялись в историографии. По словам исследователя, «либо структура власти была целиком рассеяна, и каждый град представлял собой относительно независимый политический центр, либо взаимоотношения между ними изменялись слишком быстро, чтобы могло дойти до формирования отличительных черт материальной культуры» [Urbańczyk 2008: 100].

На уровне отдельных регионов предположение о рассеянной структуре власти как будто находит подтверждение в результатах изучения динамики строительства градов, а также

их пространственного распределения. Так, недавно Л. Лозный, суммировав богатую археологическую информацию, относящуюся к поселениям славян в Польском Поморье, интерпретировал наблюдаемую здесь в IX в. всеобщую смену поселенческих паттернов как результат спонтанной самоорганизации общин земледельцев в новом социоэкономическом контексте, обусловленном заметной интенсификацией сельского хозяйства и возросшей торговлей. При этом распространение в регионе стандартизированных градов, окруженных сгустками деревень, Лозный рассматривает как признак появления вождеств [Lozny 2011]. Нельзя не заметить, что в данном пункте выводы Лозного, сделанные на основании изучения поселенческих паттернов, приближаются к классической схеме Ловмянского, трактовавшего градские округа как эволюционную стадию социальной организации, связанную с милитаризацией соседских общин. Проблема, однако, заключается в том, действительно ли единицы надлокальной интеграции, идентифицируемые как градские округа, представляли собой самодостаточные постстарные организмы. Если это было действительно так, то почему, например, текст «Баварского географа» не дает оснований для подобной интерпретации отдельных «*civitates*»? Пониманию «*civitates*» «Баварского географа» как вождеств или, по крайней мере, их властных центров мешает и весьма большой разброс в числе градов между отдельными областями — от нескольких единиц до нескольких сотен, что — при условии признания соответствующей информации достоверной — склоняет к тому, чтобы считать «*civitates*» скорее поселенческими, нежели политическими единицами. Показательным в этом плане является комментарий автора «Баварского географа» о болгарях: «Вулгарии — огромная область и многочисленный народ, у которого 5 городов, потому что их великое множество и им нет надобности иметь города» [Назаренко 1993: 14]. Таким образом, когда перед автором «Баварского географа» встала необходимость обозначить число «градов» в политическом организме с развитой административной системой и сильной центральной властью, каковым была Болгария в IX в., он явно принял в расчет иные единицы, нежели те, которые учитывались им в примитивных славянских объединениях.

В этом смысле информацию «Баварского географа», фиксирующего количество градов в славянских «областях», расположенных к северу от Дуная, интересно сопоставить с известиями трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей», где также содержатся перечни укрепленных поселений применительно к каждому из славянских княжеств, расположенных на западе Балканского полуострова. Уже само это обстоятельство побуждало исследователей уподоблять друг другу грады западных и южных славян, усматривая в названных источниках отражение существования общеславянской модели политической организации [Łowmiański 1970: 57–58; Тирковић 1998: 9]. В трактате императора Константина единицы, предположительно аналогичные градам «Баварского географа», именуются «каструмами», то есть крепостями, при этом с обязательным добавлением определения «населенный». Так, при описании Хорватии говорится: «[Знай], что в крещеной Хорватии имеются населенные крепости: Нона, Белеград, Белицин, Скордона, Хлевена, Столпон, Тенин, Кори, Клавока» [КБ 1991: 138/139]. Подобные же списки «населенных крепостей» содержатся в трактате при описании Сербии, земли неретвлян, Захумья, Дукли, Травунии и Конавле [КБ 1991: 148–153]. Что же представляли собой эти «населенные крепости» (*kastra oikoumena*)? Хотя многие из упомянутых крепостей довольно уверенно локализованы исследователями на местности [Goldstein 1995: 178; Тирковић 1998], ответить на этот вопрос далеко не просто. Дело в том, что идентифицированные населенные пункты в большинстве своем представляли собой поселения, известные с античных времен. Так, ярким примером перерастания античного поселения в славянский (хорватский) политический центр является Нин (Нона), упомянутый в перечне хорватских населенных каструмов. Судя по обширному некрополю Ждрияц, а также предметам старохорватской материальной культуры, обнаруженным в самом Нине, можно с уверенностью говорить о проживании в поселении, сохранившем урбанистическую традицию античной Эноны, относительно большой группы хорватского населения. Вместе с тем соотношение в городе античной инфраструктуры и того, что можно было бы считать собственно хорватским поселением, остается не вполне ясным.

Впрочем, наиболее распространенным видом населенной крепости, как можно думать, являлся использованный славянами для своих нужд позднеантичный каструм как таковой [Babić 1996]. Сказанное, разумеется, не означает, что славяне на Балканах не строили крепости вовсе. Скорее всего, именно возведенные славянами укрепления имелись в виду под населенными крепостями, расположенными в удаленном от моря славянском княжестве — Сербии, где античная инфраструктура была развита гораздо слабее. Однако археологически они так и не изучены, хотя предварительные изыскания позволяют, по крайней мере, констатировать существование таких крепостей в Боснии (входившей в середине X в. в состав Сербии), причем их количество значительно превышает число, приведенное в трактате [Ћирковић 1998]. Все это ослабляет традиционный взгляд на «населенные каструмы» как на основу территориальной организации южных славян, аналогичную градским сетям «Баварского географа». Даже сторонник этого взгляда Ловмянский, отметив небольшое количество градов, приведенное Константином Багрянородным применительно к таким княжествам, как Дукля и Захумье, был вынужден признать, что эти грады не могли быть центрами соседских общин и не совпадали с племенной структурой, по крайней мере на ее нижнем уровне [Łowmiański 1970: 57–58].

Однако если пространственное распределение градов Константина Багрянородного не дает возможности выявить племенную модель территориальной организации, не стоит ли вовсе отказаться от этой модели, приписав решающее значение в процессе надлокальной интеграции античной инфраструктуре? Соблазн для такой интерпретации тем более велик, что недавно сербский историк Т. Живкович интерпретировал выражение «населенные каструмы» как «города, населенные христианами», то есть те центры, которые были включены в церковную организацию. Ссылаясь на то, что «населенными каструмами» в трактате именуется только южнославянские центры, тогда как применительно к другим описываемым в трактате регионам говорится просто о городах, исследователь усмотрел в выражении императора следы понятия, существовавшего будто бы в использованном Константином Багрянородным латинском источнике [Živković

2008]. Однако появление термина «населенная крепость» с равным успехом можно объяснить тем, что у императора Константина (как и у автора «Баварского географа») не было более адекватного термина для описания структуры славянского общества, использовавшей позднеантичные каструмы для формирования своих политических организмов. В этом смысле термин «населенная крепость» можно рассматривать как попытку по возможности более точно определить характер поселенческих единиц, признававших власть тех или иных славянских элит. К такой интерпретации склоняет и то, что информацию КБ можно подкрепить сведениями из других источников. Под 822 г. «Анналы королевства франков» сообщают о том, что посавский князь Людевит бежал из Сисака к сербам, о каковом народе «говорится, что он владеет большей частью Далмации». По словам источника, Людевит нашел убежище у одного из их князей (*uno ex ducibus eorum*), захватив впоследствии «его град» (*civitatem eius*) [ARF 1895: 158]. Казалось бы, на основании данного известия можно заключить, что сербы представляли собой общность, во главе которой стояло несколько или множество вождей, каждый из которых сидел в своем граде [Katičić 1990: 69–70; Ančić 1998: 37]. Такая картина полностью отвечала бы вышеприведенным данным о характере потестарной организации у вильцев, ободритов и других славянских народов.

Таким образом, единственный твердый вывод, который может быть сделан на основе данных «Баварского географа» о славянских градах и сведений трактата Константина Багрянородного о «населенных крепостях», — это существование неких социальных единиц, на которых базировалась социальная и потестарная организация. Однако ни принципы формирования этих единиц, ни характер их связи друг с другом на основе имеющихся данных выявить не удастся. При этом что такие потестарные организмы IX в., как, например, Ободритское княжество в Полабье или Сербское княжество на Балканах, по ряду признаков (наличие княжеской власти, передаваемой в пределах правящего рода, большая территория) могут быть отнесены к зрелым формам вожеств, отсутствие в письменных источниках намеков на существование у славян простых вожеств как формы потестарной организации может показаться довольно странным. Отсут-

ствии среди исследователей консенсуса по вопросу о том, что представляли собой в структурном отношении славянские потестарные организмы, порождает произвольные толкования степени их сложности и социальной «зрелости».

Преодолеть данную ситуацию можно с помощью привлечения близких исторических аналогий. Такой подходящей аналогией представляются нам политики, существовавшие в первые века нашей эры на Корейском полуострове, а также на близлежащих островах Японского архипелага, в первую очередь Кюсю. Сведения о ранних корейских политиках, сопоставленные с данными о похожих обликах потестарной организации в других уголках мира, были недавно использованы Гибсоном для концептуализации особого типа потестарной организации — конфедерации вожеств [Gibson 2011], что, на наш взгляд, представляет большой интерес с точки зрения изучения славянских объединений, традиционно именовавшихся в историографии «племенными союзами». В историографии период вожеств на Корейском полуострове обычно связывается с эпохой, предшествовавшей так называемой эпохе Троецарствия, когда население Корейского полуострова оказалось консолидированным главным образом в рамках трех больших «царств» — Когурё, Пэкче и Силла. Наиболее показательным с точки зрения интересующей нас проблемы потестарных единиц нижнего уровня является период Самхан или Трех Хан, как в корейской историографии именуется конгломерат политических объединений, располагавшихся на юге Корейского полуострова, в то время как центральная его часть была занята китайскими округами, появившимися здесь вследствие присоединения к империи Хань в 108 г. до н.э. государства Древний Чосон (см. подробно: [Бутин 1984]). На близкой стадии развития находились в это время и политики так называемого позднего периода яёй на островах Японского архипелага, поддерживавшие связь как с равноуровневыми им политическими единицами Самхана, так и с империей Хань [Суровень 1995; Barnes 2007: 71–82]. Положение варварских политий на Корейском полуострове и Японских островах в эпоху поздней династии Хань (25–220 гг.) в некотором роде сходно с ситуацией на западе и юге славянского мира в IX в. В обоих случаях речь идет об очагах формирования вторичной государ-

ственности, испытывавших как политическое давление, так и сильное культурное влияние со стороны соседних государственных структур имперского типа (Хань, империя Каролингов, Византия). При этом на Дальнем Востоке, так же как и на северо-восточных рубежах империи Каролингов, социально-политическому развитию в немалой степени способствовал достигнутый местными земледельческими общинами высокий уровень хозяйственной деятельности, обеспечивший заметный демографический рост. Однако основанием для предлагаемого нами сравнения является не это обстоятельство, а сходство, которое обнаруживает описание структуры политий Самхана и «страны Ва» (Японии) в китайском источнике второй половины III в. «Сань-го чжи» («Описание Трех государств») Чэнь Шоу (233–297 гг.), с тем, что сообщают о славянах византийские и франкские источники, в первую очередь Константин Багрянородный и «Баварский географ».

Так, в описании «Сань-го чжи» Самхан представляется многоуровневой потестарной структурой. Сразу после описания географического положения Самхан как особой территории, расположенной на юге Корейского полуострова, говорится об образующих его трех государствах (*guo*) под названиями Махан, Чинхан и Пёнхан. При этом каждое из названных «государств» также состоит из большого количества «государств» (*guo*). Вот, например, как описывается структура Махана: «Имеют по отдельности (в общинах) своих *чансу* (старейшин), большие из которых называются *синджи*, а меньшие *ытча*. Живут, расселившись между горами и морем, и нет [у них] укрепленных городов» [Пак 1961: 127]. Перечислив далее все «государства», входящие в состав «государства» Махан (их свыше 50), китайский автор дает им следующую характеристику: «В больших из них проживают около 10 тысяч семейств, а в маленьких — по несколько тысяч, а всего более ста тысяч семейств. Чинский ван управляет государством Вольчи» [Там же: 127–128]. Как видно, из этого описания, Махан представляло собой рыхлое объединение, состоявшее из неких неравновеликих единиц, возглавлявшихся разными типами старейшин. При этом, однако, наличествовала фигура верховного вождя, которого автор описания именуется китайским титулом вана. Аналогич-

ной в описании «Сань-го чжи» выглядит и структура остальных составных частей Трех Хан. Так, в главе, посвященной Чинхану, говорится: «Чинхан находится к востоку от Махана. Полагаясь на рассказы своих стариков, они сами говорят, что, когда в государство Хан прибыли люди, бежавшие от тяжелых повинностей империи Цинь, Махан выделил им свои восточные владения. [Здесь] имеются укрепленные города. <...> Вначале было шесть [чинханских] государств, но постепенно путем деления [их число] увеличилось до двенадцати» [Там же: 131]. В главе, описывающей Пёнчин (Пёнхан), сообщается: «Пёнчин также состоит из двенадцати земель, в которых имеются еще маленькие поселения во главе со своими *косу* — старейшинами. Наиболее крупные из них (старейшин) называются *синджи*, а за ними идут *хомчхик*, *поне*, *сальхэ* и *ынчха*». Перечислив далее свыше 20 «государств» Пенхана и Чинхана, автор снова отмечает: «В больших из них находится по 4–5 тысяч семейств, в маленьких — по 600–700, а всего — 40–50 тысяч семейств. Двенадцать их государств подчиняются *чин-вану* (чинскому вану), который всегда назначается из числа маханцев и занимает место наследственно из поколения в поколение, поэтому чинский ван не может сам себя объявить ваном» [Там же]. Иерархическая структура власти, специально отмеченная в случае с Маханом, очевидно, совсем не мешала рыхлости политической структуры. Так, при описании Махана этот же источник специально подчеркивает: «В обычае людей Хан мало установлений, и хотя имеется *джусу* (главный вождь) в центре государства, селения их разбросаны в беспорядке, поэтому он не может управлять ими как следует» [Там же: 130]. Описывая «страну Ва» (Японию), «Сань-го чжи» также фиксирует существование здесь в III в. десятков маленьких «государств» (*гио*): по сообщению источника, в прошлом их число превышало сотню, в то время как в настоящее время (современное составлению памятника) 30 «государств» имеют отношения с Китаем [Barnes 2007: 52]. Здесь же содержится информация о том, что доминирующее положение среди них занимает «государство» Яматай, во главе которого стояла правительница Химики, занявшая престол после длительного периода войн между «государствами» [Суровень 1995: 160–161; Barnes 2007: 79–81]. Су-

ществование на Японских островах большого числа мелких «государств», объединенных с течением времени в своего рода конфедерацию или «сетевую политику» во главе с «государством» Яматай, напоминает ситуацию на Корейском полуострове, что наряду с другими важными факторами позволяет современным исследователям объединять Корею и Японию в единый регион с точки зрения характера протекавших здесь социально-политических процессов (см. подробно: [Barnes 1986; 2007: 34–36]).

На фоне приведенных известий китайских источников разброс в числе «*civitates*», присутствующий в «Баварском географе», уже не кажется столь подозрительным. Можно допустить, что, подобно китайским авторам, анонимный составитель «Баварского географа» столкнулся с неравновеликими поселенческими единицами, каждая из которых, однако, играла важную роль в военной организации, вследствие чего и была учтена в общем числе «градов» той или иной «области». Наводящим на размышление обстоятельством является то, что в китайских источниках возглавляемые старейшинами поселенческие единицы осмыслялись как автономные политии: каждая из них именуется традиционным китайским термином «*guo*» («государство»), истоки которого уходят в эпоху Шан (XVIII–XI вв. до н.э.), когда он использовался для обозначения специфических потестарных единиц Древнего Китая — «городов-государств» [Yates 1997: 82–83; Demattè 1999: 143–144]. Хотя использование термина «*guo*» применительно к поселенческим единицам Самхана и «страны Ва» (Японии), очевидно, было призвано акцентировать их политическую роль, характер поселенческих единиц этим никак не проясняется, что порождает трудности, в методологическом плане сходные с проблемами интерпретации информации «Баварского географа» о «*civitates*» и Константина Багрянородного о «населенных крепостях». В этой связи для слависта может представлять определенный интерес опыт осмысления поселенческих единиц, обозначаемых в китайских источниках термином «*guo*», в рамках исследований корейского и японского политогенеза. Если вынести за скобки неоднократно встречавшиеся в историографии определения типа «племени» или «племенной единицы», а также «малого» или «примитивного государ-

ства» (обзор мнений см.: [Kang Bong Won 1995: 87–89; Barnes 2001: 29]) как слишком абстрактные, то, например, заслуживает внимания предложенная корейским ученым Ли Ги Бэком попытка рассматривать многочисленные «*guo*» Самхана как «государства-крепости», каждое из которых будто бы состояло из городища и тяготевших к нему нескольких деревень, пребывавших под властью сидевшего на городище вождя [Ли Ги Бэк 2000: 57–58]. Нетрудно заметить, что эта картина весьма похожа на ту, что долгое время доминировала в славистике. Между тем, как и в случае со славянским материалом, археология вносит свои коррективы в конструируемые историками идеальные модели. Как подчеркивает Дж. Барнс, крепости начинают появляться в указанном регионе лишь в конце III в. [Barnes 2001: 29]. Это обстоятельство заставляет склониться в пользу другого взгляда, согласно которому мельчайшая единица, обозначаемая термином «*guo*», представляла собой один из вариантов позднепервобытной общины. Подобного взгляда придерживались многие авторы, среди которых — российский кореевед и комментатор «Сань-го чжи» М.Н. Пак (община предположительно патриархально-родовая) [Пак 1961: 127], современный российский японист Д.А. Суровень (территориальная община («община-государство»), возникающая в результате синойклизма соседских общин) [Суровень 1995; 2013а; 2013б: 78–81], а также зарубежные ученые К. Гарднер (клановое поселение, возможно, не более, чем большая деревня), Т. Хатада (совокупность нескольких деревень, чьи жители были объединены кровнородственными связями) и др. (обзор мнений см.: [Barnes 2001: 29; Kang Bong Won 1995: 87–89]).

Принимая на веру сведения «Сань-го чжи» о количестве домохозяйств в крупных и малых «*guo*» Самхана, можно без труда рассчитать среднюю численность населения (исходя из установленного корейскими исследователями среднего размера семьи в 4–5 человек). Полученные при этом цифры (от 3 тыс. человек) соответствует данному Т. Эрлом классическому определению вождества как политики, организующей население, исчисляемое тысячами [Earle 1991], как и приведенным выше конкретным данным по вождествам юго-востока США. Однако, когда речь идет о такой густо-

населенной территории, как юг Корейского полуострова, едва ли данные о численности населения имеют существенное значение для выяснения уровня социально-политической сложности. Показательно, однако, что в последнее время наименьшие единицы социально-политической интеграции, обозначаемые термином «*giuo*», даже в обобщающих работах все чаще именуются вождествами (см. как пример: [Yu Chai-Shin 2012: 12–13]). Насколько оправдано подобное словоупотребление, притом что бесспорные признаки появления социальной стратификации (курганная культура) возникают в этом регионе лишь к IV в. [Barnes 2001]? Казалось бы, ответ на этот вопрос зависит прежде всего от археологической идентификации поселенческих кластеров, которые могли бы соответствовать самодостаточным политиям, и такая работа уже осуществлялась археологами (см. обзор новейших корейских исследований: [Moon Chang Rho 2006: 14–15, 33–35]). Например, согласно схеме японского археолога К. Тerasавы, изучившего поселенческую структуру обществ севера Кюсю, можно говорить о трех стадийных формах интеграции в данном регионе: «малой общине», состоявшей из материнской деревни и отпочковавшихся от нее поселков, «большой общине», состоявшей из совокупности 2–5 «малых общин», и, наконец, более крупных объединений, представлявших собой совокупность «больших общин». При этом автором делается вывод, что именно «большие общины» фигурируют в «Сань-го чжи» в качестве политий («*giuo*») более раннего периода, число которых превышало сотню, в то время как 30 политий («*giuo*») более позднего периода соответствовали более крупным политиям, сложившимся за счет объединения «больших общин» (см.: [Barnes 2007: 73–76]). Очевидно, что «большая община» Тerasавы подпадает под определение «простого вождества» — единицы, состоящей из нескольких деревень, под властью верховного вождя. Значит ли это, что наименьшей формой надлокальной интеграции, по отношению к которой в китайских источниках мог быть использован термин «*giuo*», было именно простое вождество? Уверенности в этом нет. Дж. Барнс указала на присутствие ряда труднообъяснимых моментов в интерпретации Тerasавой изученных им поселенческих паттернов: отсутствие единого центра у «большой общины»

и неясность принципов объединения «малых общин» в «большие». Данное наблюдение вкупе с эпизодическим характером присутствия престижных предметов в предполагаемых погребениях местных вождей позволило исследовательнице высказаться в пользу отсутствия в обществах северного Кюсю сколько-нибудь стабильной политической иерархии, что было обусловлено постоянным соперничеством местных лидеров за доступ к престижным предметам [Ibid.: 76–77]. Если данный вывод верен, то вряд ли можно считать очевидными принципы, по которым китайские авторы идентифицировали в такой ситуации отдельные «*giuo*». Исходя из разницы в размерах политий, вытекающей из сведений «Саньго чжи» о численности населения Самхана, и рассуждая на уровне общей логики, остается согласиться с мнением Кан Бон Вона о том, что вождествами были лишь отдельные «*giuo*» Самхана³, но отнюдь не все 78 единиц социальной интеграции, зафиксированные в китайских источниках [Kang Bong Won 1995: 88–89]. К этому следует добавить, что зафиксированная на тот или иной момент потестарная структура не отличалась стабильностью. Об этом свидетельствует, например, фраза «Сань-го чжи» об увеличении числа чинханских политий с шести до двенадцати или разницы в приводимом в этом же источнике числе политий «страны Ва» (Японии) — свыше 100 для более раннего периода и около 30 для более позднего.

В последние годы в политической антропологии заметно усиление внимания как к теме типологии вождеств, так и к проблеме иных форм социальной эволюции, рассматриваемых в качестве аналогов вождеств [Gibson 2011; Grinin 2011; Grinin, Korotayev 2011]. Данная дискуссия имеет все шансы стать релевантной для изучения ранних форм политической организации в славянском обществе. При этом, однако, существует опасность использовать для реконструкции славянских реалий готовые модели (такие, например, как «сложное вождество», «компаундное вождество» или «конфедерация вождеств»), в рамках которых могут быть искусственно заретушированы проблемы, вытекающие из неоднозначности известий современных письменных источников. Поэтому необходимым условием для дальнейшего анализа является понимание того, в какой мере реальность

славянского социума уже была «деформирована» на страницах использованного нами источника. Как показывают приведенные примеры, единицы интеграции, которые претендовали на роль «простых вожеств», действительно могли рассматриваться как автономные политические единицы, а могли просто не распознаваться авторами источников, перед которыми определенно стояли иные задачи, нежели те, что волнуют современных историков и антропологов. Вследствие этого за фасадом больших политий, обычно именованных «княжествами», могли скрываться весьма простые в структурном плане организмы, и, наоборот, структурная сложность иных славянских «племенных союзов» могла быть гораздо большей, чем обычно представляется в историографии. Как видно, с приходом в славистику антропологических концепций проблемы, волновавшие историков, не утратили актуальности.

¹ Выделяемые Р. Карнейро типы «компаундного» и «консолидированного» вожества (то есть такого, в котором локальные вожди уже заменены должностными лицами, назначаемыми верховным вождем) в антропологической литературе нередко покрывались понятием «сложного вожества» (*complex chieftdom*). Основным отличием сложного вожества от простого считалось наличие в нем дополнительных уровней властной иерархии. Так, если простое вожество характеризуется наличием двух уровней управления — нижнего, представленного главами общин, и верхнего, представленного верховным главой всего потестарного организма — вождем, то в сложном вожестве таких уровней по определению больше (см. подробно: [Steponaitis 1978]). Вместе с тем присутствует также тенденция именовать сложными вожествами только те политии, где присутствовали назначаемые верховным вождем должностные лица, контролировавшие подвластные ему вожества, в то время как политии, лишь объединявшие под властью верховного вождя несколько или множество сохранявших автономию вожеств, — компаундными вожествами [Worth 2003]. Наконец, в последнее время к понятиям компаундного, сложного и так называемого «верховного» или «высшего» вожества (*paramount chieftdom*; не вполне адекватный в русском переводе термин, по сути, являющийся синонимом термина «компаундное вожество») предлагается добавить понятие конфедерации вожеств [Gibson 2011]. Все указывает на то, что общепринятый терминологический аппарат, относящийся к сложным формам вожеств, еще не вполне выработался.

² Исследовавший эти «гнезда» поселений Б.А. Тимошук интерпретирует их как большесемейные (соседско-родовые) общины [Тимо-

шук 1990: 137]. Высказывается мнение, что именно к такой общине первоначально относилось понятие «вервь», зафиксированное впоследствии в двух средневековых славянских памятниках права — древнерусской Русской Правде и хорватском Полицком статуте (из новых работ см.: [Скобелев 2010: 41–45]). Упомянутые в тексте «Стратегикона» Маврикия, византийского источника конца VI в., некие округа склавинов и антов (по отношению к ним использован термин «*horion*» — «земля», «область» и т.п.), судя по их небольшим размерам, вероятно, также соответствовали общинам-«гнездам» [Curtis 2001: 283, 324].

³ Интерпретация в качестве простых вождеств хотя бы некоторых из «*guo*» Самхана находит определенное подтверждение в истории возвышения «государства» Саро в том виде, в каком этот процесс описан в «Самгук саги», корейской летописи XII в., написанной историографом Ким Бусиком с использованием более ранних источников. Полития Саро, упоминаемая в «Сань-го чжи» как одно из двенадцати «государств» Чинхана, предстает в «Самгук саги» как политическая единица, из которой со временем выросло могущественное королевство Силла. Согласно данному источнику, «государство» Саро первоначально состояло из шести деревень, основанных «среди гор и ущелий» выходцами из корейского государства Чосон, причем эти шесть деревень были общинами Чинхана. В рассказе излагается миф о происхождении первого правителя Саро по имени Хёккосе из яйца, обнаруженного старейшиной одной из шести деревень [Ким Бусик 2001: 71]. По предположению Ли Бёндю, основанному на имени старейшины, речь шла о лице, возглавлявшем деревню Саро, которая и дала название всему «государству» (см. комментарий М.Н. Пака: [Там же: 299]). После того как ребенок вырос, люди шести общин, «почитавшие его из-за удивительного происхождения», сделали его правителем. Из дальнейшего текста «Самгук саги» можно сделать вывод о постепенном территориальном разрастании политики Саро и включении в ее состав тех или иных «государств», пребывавших в составе Чинхана и Пёнхана. Особый интерес представляют известия источника о менявшихся с течением времени титулах правителей Саро (*косоган*, *исагым*, *мариткан*), в которых современные исследователи усматривают отражение изменений в характере верховной власти на пути ее перерастания в наследственную [Курбанов 2009: 58–60]. Параллельно с этим в Саро происходило закрепление властных полномочий за представителями нескольких родов — Пак, Сок и Ким. В известиях о чудесном происхождении первого правителя Саро *косогана* Хёккосе, ставшего основателем рода Пак, а также *исагыма* Тхальхэ, основателя рода Сок, появившегося на свет из яйца [Ким Бусик 2001: 79–80], исследователи усматривают возникновение в Саро особой элитарной идеологии, сближавшей местную верхушку с элитами других политий региона (Пуё, Когурё, Пэкче), где существовали похожие мифы

[Barnes 2001: 41, 47]. Для нас в данном случае важно то, что, несмотря на все социально-политические трансформации, пройденные Саро на пути превращения в государство Силла, и возможную генеалогическую перспективу в изображении ранней истории Саро в «Самгук саги», когда сугубо социальные явления могли осмысляться в терминах родства и генеалогической связи, корейский средневековый автор изображает раннюю политику Саро, по сути, как союз шести деревень, каждая из которых, судя по некоторым намекам, представляла собой родовую общину [Пак 2001: 21–22; Barnes 2001: 41]. В историографии политика Саро описывалась как «племя», «племенная деревня», «деревня-государство», «государство-крепость», «племенной союз кланов» (обзор мнений см.: [Barnes 2001: 41]). В последнее время к этому перечню добавилось — как кажется, вполне справедливо — определение «вождество».

Бутин Ю.М. 1984. От Чосона к Трем Государствам. (II в. до н. э. — IV в.). Новосибирск.

Васильев Л.С. 2005. Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород.

Горский А.А. 2004. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М.

Грачев В.П. 1965. Из истории изучения славянских средневековых институтов (Вопрос о жупах и жупанах в историографии) // Уч. зап. Института славяноведения АН СССР. Т. 29. С. 178–209.

Грачев В.П. 1967. Термины «жупа» и «жупан» в сербских источниках и трактовка их в историографии (К изучению политической организации в средневековой Сербии) // Источники и историография славянского средневековья / Отв. ред. С.А. Никитин. М. С. 3–52.

Грачев В.П. 1972. Сербская государственность в X–XIV вв. Критика теории «жупной организации». М.

Гирковић С.М. 1998. «Насељени градови» Константина Порфирогенита и најстарија територијална организација // ЗРВИ. 1998. Књ. 37. С. 9–32.

Карнейро Р. 2000. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // АПЦ. С. 84–94.

Ким Бусик. 2001. Самгук саги. Т. 1. Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступ. ст. и коммент. М.Н. Пака. М.

Клајић Н. 1959. Новији радови на друштвеној проблематици средњовековне Хрватске // Годишњак историског друштва Босне и Херцеговине. Год. X (1949–1959). Сарајево. С. 333–354.

КБ 1991 — Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева; пер. Г.Г. Литаврина. М.

Крадин Н.Н. 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // РФПО. С. 11–61.

Крадин Н.Н. 2002. Структура власти в кочевых империях // КАСЭ. С. 79–90.

Курбанов С.О. 2009. История Кореи с древности до начала XXI в. СПб.

Ли Ги Бэк. 2000. История Кореи: Новая трактовка. М.

Назаренко А.В. 1993. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. Тексты, перевод, комментарий. М.

Пак М.Н. 1961. Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Проблемы востоковедения. № 1. С. 115–138.

Пак М.Н. 2001. Летописи Силла и вопросы социально-экономической истории Кореи // Самкук саги. Т. 1. Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступ. ст. и коммент. М.Н. Пака. М. С. 15–58.

Плетерский А. 2008. О «the Making of the Slavs» изнутри // SSBP. № 2 (4). С. 33–36.

Пузанов В.В. 2012. Образование Древнерусского государства в восточноевропейской историографии. Ижевск.

Ронин В.К. 1995. Грамота Тассило III Кремсмюнстерскому монастырю // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. (VII–IX вв.) / Сост. С.А. Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ронин; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М. С. 429–434.

Свод 1995 — Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. (VII–IX вв.) / Сост. С.А. Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ронин; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М.

Скобелев А.В. 2010. «Люди» в системе социальных связей восточнославянского общества VI — первой трети XIII в.: дис. канд. ист. наук. Ижевск.

Суровень Д.А. 1995. Возникновение раннерабовладельческого государства в Японии (I в. до н.э. — III в. н.э.) // Проблемы истории, филологии, культуры: межвуз. сб. М.; Магнитогорск. Вып. II. С. 150–175.

Суровень Д.А. 2013а. Первые политические объединения в юго-западной Японии в I — середине II в. н.э. и их международные отношения // Вестник Челябинского государственного университета. № 23 (314). Политические науки. Востоковедение. Вып. 14. С. 78–97.

Суровень Д.А. 2013б. Сведения древнеяпонских источников о расселении тунгусо-маньчжурского народа идзумо на острове Хонсю // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. № 1 (11). С. 72–87.

Тимощук Б.А. 1990. Восточнославянская община VI–X вв. М.

Шинаков Е.А. 2009. Образование Древнерусского государства: Сравнительно-исторический аспект. М.

Alemay A. 2009. From Central Asia to the Balkans: the title *ču(b)-pān // In *Daēnā to Dīn: Religion, Kultur und Sprache in der iranischen Welt* / Ed. by C. Allison, A. Joisten-Pruschke, A. Wendtland. Wiesbaden. S. 3–12.

Ančić M. 1998. Od karolinškog dužnosnika do hrvatskoga vladara. Hrvati i karolinško carstvo u prvoj polovici IX stoljeća // *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*. 1998. Sv. 40. S. 27–41.

Ančić M. 2011. Ranosrednjovjekovni Neretvani ili Humljani: Tragom zabune koju je prouzročilo djelo *De administrando imperio* // *Hum i Hercegovina kroz povijest*. Zbornik radova. Knj. I / Ur. I. Lučić. Zagreb. S. 217–278.

ARF 1895 — *Annales Regni Francorum et Annales qui dicuntur Einhardi* / Rec. F. Kurze. Hannoverae.

Babić I. 1996. Sudbina antičkih naselja na tlu Hrvatske i susjednih Sklavinja // *Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža* / Ur. M. Jurković, T. Lukšić. Zagreb. S. 29–35.

Barnes G.L. 1986. Jiehao, tonghao: peer relations in East Asia // *Peer Polity Interaction and Socio-Political Change* / Ed. by C. Renfrew, J.F. Cherry. Cambridge. P. 79–92.

Barnes G.L. 2001. *State Formation in Korea: Historical and Archaeological Perspectives*. Richmond.

Barnes G.L. 2007. *State Formation in Japan: Emergence of a 4th-century Ruling Elite*. L.; N.Y.

Bogucki A. 1972. *Komes w polskich źródłach średniowiecznych*. Warszawa; Poznań.

Brather S. 2001. *Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa*. Berlin.

Buko A. 2008. *The Archaeology of Early Medieval Poland: Discoveries – Hypotheses – Interpretations*. Leiden; Boston.

Carneiro R. 1981. The chiefdom as precursor of state // *The Transition to Statehood in the New World* / Ed. by G. Jones and R. Kautz. Cambridge. P. 37–79.

Curta F. 2001. *The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700*. Cambridge.

Dematté P. 1999. Longshan-Era Urbanism: The Role of Cities in Predynastic China // *Asian Perspectives*. Vol. 38, № 2. P. 119–153.

Dzino D. 2010. *Becoming Slav, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia*. Leiden.

Earle T.K. 1991. The evolution of chiefdoms // *Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology* / Ed. by T. K. Earle. Cambridge; N.Y. P. 1–15.

Gibson D.B. 2011. Chiefdom confederacies and state origins // *SEH*. Vol. 10. № 1. P. 215–233.

Goldstein I. 1995. *Hrvatski rani srednji vijek*. Zagreb.

Grinin L.E. 2011. Complex chiefdom: precursor of the state or its analogue? // SEH. Vol. 10. № 1. P. 234–275.

Grinin L.E., Korotayev A.V. 2011. Chiefdoms and their analogues: alternatives of social evolution at the societal level of medium cultural complexity // SEH. Vol. 10. № 1. P. 276–335.

Kadlec K. 1912. O politycznym ustroju Słowian, zwłaszcza zachodnich, przed X wiekiem // Encyklopedia polska. T. IV. Cz. 2. Dz. V. Początki kultury słowiańskiej / Opracowali A. Bruckner, L. Niederle, K. Kadlec. Kraków. S. 31–73.

Kang Bong Won. 1995. The Role of Warfare in the Formation of State in Korea: Historical and Archaeological Approaches / Ph.D. dissertation. University of Oregon, Ann Arbor.

Katičić R. 1990. Pretorijanci kneza Borne // SHP. Ser. III. 1990. Sv. 20. S. 65–83.

Klaić N. 1959. Postanak plemstva dvanaestero plemena kraljevine Hrvatske // HZ. God. XI–XII. S. 14–64.

Kobylinski Z. 1997. Settlement structures in Central Europe at the beginning of the Middle Ages // Origins of Central Europe / Ed. by P. Urbańczyk. Warsaw. S. 97–114.

Lozny L. 2011. The Emergence of Multi-agent Politics of the Northern Central European Plains in the Early Middle Ages, 600–900 CE // SEH. Vol. 10. № 1. P. 122–148.

Łowmiański H. 1970. Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e. T. II. Warszawa.

Malingoudis Ph. 1972. Die Institution des Župans als Problem der frühslavischen Geschichte // Cyrillomethodianum. Vol. 2. S. 61–71.

Madgearu A. 2004. Were the župans really rulers of some Romanian early medieval polities? // Revista de Istorie Socială. Vol. IV–VII. P. 15–25.

Mandić O. 1952. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj // HZ. God. V. Br. 3–4. S. 225–298.

Moon Chang Rho. 2006. Achievements and future tasks in the field of ancient Korean history // International Journal of Korean History. 2006. Vol. 8. P. 1–41.

Oberg K. 1955. Types of social structure among the lowland tribes of South and Central America // AA. Vol. 57. P. 472–487.

Pleterski A. 1995. The trinity concept in the Slavonic ideological system and the Slavonic spatial measurement system // Światowit. Vol. 40. S. 113–143.

Pleterski A. 1996. Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih // ZČ. 1996. Letnik 50. Št. 2. S. 163–185.

Pleterski A. 1998. Die altslawische župa — der Staat vor dem Frühstaat // Kraje slowiańskie w wiekach średnich, profanum i sacrum / Red. H. Kóčka-Krenz, W. Losiński. Poznań. S. 79–81.

Pleterski A. 2013. The Invisible Slavs: Župa Bled in the Prehistoric Early Middle Ages. Ljubljana.

- Procházka V.* 1968. Župa a župan // SA. Vol. 15. S. 1–59.
- Sahlins M.* 1968. Tribesmen. Englewood Cliffs.
- Service E.* 1962. Primitive Social Organization: an Evolutionary Perspective. N.Y.
- Smiljanić F.* 1995. Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije Hrvatske // Etnogeneza Hrvata / Ur. N. Budak. Zagreb. S. 178–192.
- Smiljanić F.* 2007. O položaju i funkciji župana u hrvatskim srednjovjekovnim vrelima od 9. do 16. stoljeća // Povijesni prilozi. Zagreb. Sv. 33. S. 33–102.
- Steponaitis V.P.* 1978. Location theory and complex chiefdoms: a Mississippian example // Mississippian Settlement Patterns / Ed. by B.D. Smith. N.Y. P. 417–453.
- Tolochko O.* 2008. The Primary Chronicle's 'Ethnography' Revisited: Slavs and Varangians in the Middle Dnieper Region and the Origin of the Rus' State // Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe / Ed. by I.H. Garipzanov, P.J. Geary, P. Urbańczyk. Turnhout. P. 169–188.
- Třeštík D.* 1988. České kmeny. Historie a skutečnost jedné koncepcie // Studia Mediaevalia Pragensia. 1988. Vol. I. S. 129–143.
- Třeštík D.* 1994. Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů // ČČH. 1994. Roč. 92. S. 423–459.
- Urbańczyk P.* 2008. Trudne początki Polski. Wrocław.
- Worth J.E.* 2003. An ethnohistorical synthesis of southeastern chiefdoms: How does Coosa compare? / Paper presented in the symposium "Coosa: Twenty Years Later" at the 60th annual Southeastern Archaeological Conference, Charlotte, North Carolina, November 15, 2003 (URL: [http://www.uwf.edu/jworth/Worth SEAC 2003Coosa.pdf](http://www.uwf.edu/jworth/Worth%20SEAC%2003Coosa.pdf)).
- Yu Chai-Shin.* 2012. The New History of Korean Civilization. Bloomington.
- Živković T.* 2008. Constantine Porphyrogenitus' Kastra oikoumena in the Southern Slavs principalities // ИЧ. 2008. Књ. 57. С. 9–28.